

Год 5-й

2003–2008

ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК

СЕРИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ИЗУЧЕНИЮ
ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ АЗИИ И АФРИКИ

ТОМЪ 5 (XI)

НОВАЯ СЕРИЯ

Издание Российской академии наук
и
Государственного Эрмитажа

Издательство «Индрик»
Москва
2009

М. В. Баньковская

И. Ю. КРАЧКОВСКИЙ И ТРОЕ НЕАРАБИСТОВ¹

В 1983 году отмечалось 100-летие И. Ю. Крачковского, шли заседания в Ленинграде и Москве. Мне вспоминается такой вроде бы незначительный эпизод. Торопясь на заседание в нашем ИВ, я увидела идущую мне навстречу знакомую востоковедку — дальневосточницу. На мое недоумение: почему она идет не в ту сторону, она ответила еще большим недоумением: так ведь Крачковский — арабист!

Я буду говорить сегодня об отношениях — взаимоотношениях — Игнатия Юлиановича с тремя НЕ-арабистами, представителями трех поколений востоковедов: старшим по отношению к нему иранистом Ф. А. Розенбергом, почти сверстником китаеведом В. М. Алексеевым и младшим, тоже китаеведом, Ю. К. Щуцким. Все они, включая, конечно, и самого Игнатия Юлиановича, сотрудники АМ — азмузовцы, или, как окрестил их Щуцкий, азмузиаты.

Если попытаться выбрать из всех азмузовцев какое-то одно лицо как самое характерное, олицетворяющее дух этого учреждения, то это, конечно, Розенберг. Деятельность директора АМ С. Ф. Ольденбурга выходила далеко за его пределы, и вся внутренняя жизнь Музея оказалась неразрывно слитой с Розенбергом. Он был общим другом всех, и когда его не стало, отклики на его смерть звучали как прощальный поклон Азиатскому музею. Самые лучшие, проникновенные — это некрологи, написанные арабистом Крачковским, памятная всем глава в книге «Над арабскими рукописями» и еще — наброски воспоминаний китаеведа Алексеева. На эти источники я и ссылаюсь, специально их не оговаривая.

«Розенбергу, — писал Крачковский, — Азиатский музей обязан тем, что стал центром востоковедной работы в Ленинграде, учреждением дорогим и близким сердцу каждого ориенталиста». «Каждый служащий считал совершенно естественным для себя быть на уровне всей мировой науки во всех областях, к которым может быть предъявлен запрос. А в Азиатском музее эти запросы с начала XX века шли в геометрической прогрессии не только из Петербурга; для всей заграницы Азиатский музей был основным центром информации... Если подсчитать число наших и зарубежных изданий, где высказывается признательность Федору Александровичу за содействие и научную помощь, только тогда станет ясен диапазон и его знаний и его отзывчивости».

¹ Выступление на вечере памяти И. Ю. Крачковского 20.01.2001.

В диапазон знаний входила культура Запада — проникновение этой культурой во всем ее комплексе, вживание в нее. «Розенберг — вторит Крачковскому Алексеев, — был тип просвещенного ориенталиста, с широким охватом и Востока и Запада, с большим чувством масштаба, без ориенталистических увлечений и так называемой “любви к предмету”. Для него ориентализм был продолжением гармоничного развития его личности, не карьера, не забава, не экзотика».

Без нажима, незаметно, по словам Крачковского, Розенберг создал как бы свою кафедру, и «число тех, кто с радостью назвал бы себя его учеником, наверно, гораздо больше узкого круга, который могла бы выпустить ограниченная специальностью аудитория университета». Арабист Крачковский, китаист Алексеев, кавказовед-лингвист А. Н. Генко, арабист В. А. Эberman, коптовед и эллинист П. В. Эрнштедт, китаист Ю. К. Щуцкий — все именно с радостью причисляли себя к ученикам-воспитанникам Федора Александровича.

Как это выглядело в жизни, говорит хотя бы такая запись в дневнике Алексеева, 1912: «У Розенберга незабвенный вечер. Симпатия моя к нему разрослась до гигантских размеров. Я формулировал мои искания в Сы-кун Ту... Настроение после беседы превосходное... Искренне пожал ему обе руки, благодарный сердечно». И дальше, в дневниках последующих лет, полных мучительных порой сомнений в правильности своих новых путей в работе над труднейшей китайской средневековой поэтикой, имя Розенберга присутствует, как постоянный противовес всякой поспешности и поверхностности. В очерке Крачковского об этом научном стиле Розенберга говорят такие, например, характеристики: «ни на минуту не ослабляя своей всегдашней тщательности», «не увлекаясь быстротой, работая методически», «никогда не стремясь к количественному умножению своих печатных работ»... Этот очерк-некролог Крачковского Алексеев назвал учительным, вложив в это старое определение неустаревающий смысл, а ныне обретший особо острую актуальность.

Как приложение к некрологу Игнатий Юлианович поместил выдержку из присланного Алексееву письма Андрэ Жида, давнего, еще с 1896 года друга Розенберга, — отклик на смерть Федора Александровича. Вторым приложением дан список печатных работ, составленный Крачковским с вызывающими восхищение полнотой и точностью — свидетельство того, что отношение арабиста к иранисту не ограничивалось личной преданностью, но выходило в широкий круг научных интересов.

В отгиск с некрологом, подаренный «Наталии Михайловне и Василию Михайловичу на память о старом друге», заботливо вложен отпечатанный на машинке листок: «Конец главы 1 (стр. 898), опущенный редакцией без ведома автора». В этом заключительном аккорде Игнатий Юлианович с присущей ему патетикой, не нарушающей эпический ритм повествования, говорит о последних годах Федора Александровича, мучительных из-за

болезни и более всего — чувства своей неуместности в новой жизни. И приводит выписку из протокола 1931 года об отчислении от должности старшего ученого хранителя в виду перехода на пенсию — лаконичную выписку, которой Академия «простила с одним из старейших своих служащих, еще в 1923 году избранном в члены-корреспонденты». Этот листок, восстанавливающий неслучайную купюру в журнальном тексте, имеет своим продолжением документ в архиве Крачковского — его возмущенный протест против редакционного самоуправства, адресованный ответственному редактору «Известий АН СССР» акад. А. М. Деборину и написанный в таких тонах, что может показаться: писал не известный своей сдержанностью Крачковский, а известный своей несдержанностью Алексеев. В решительные моменты тональности бывали созвучны.

Имя Крачковского появляется на страницах дневника Алексеева в годы его работы над «Поэмой о поэте» Сыкун Ту и упоминается все чаще, с возрастающей симпатией. В 1916 году, по мере приближения к защите, все больше тревоги и уныния от отрицательных реакций на его труд — «Хожу унылый...» И вдруг — радостный крик: «Крачковский отзывается самым лучшим образом о моей книге. Рад безумно!» В библиотеке Крачковского сохранился том с дарственной надписью и исключительными по исчерпывающему вниманию (оценка Алексеева) замечаниями на полях.

В какую-то веселую минуту была тогда послана Игнатию Юлиановичу записка: «...Через неделю я попрошу позволения Вашего устроить временный склад моих кирпичей перед распределением оных по портфелям профессоров и наших коллег. Злорадно предвкушаю удовольствие гг. Жуковского, Смирнова, Веселовского etc., уносящих 6 фунтов киждо восвояси. Ваш В. Алексеев».

И дальше продолжалось это исчерпывающее внимание арабиста к продукции ученого далекой, казалось бы, профессии и не менее внимательное участие к человеку, по многим параметрам ему антиподному. Такая соединенность особенно интересна. В письмах слышны два голоса, в них и диссонансы и гармония. Я приведу коротенькие выдержки из писем разных лет.

Крачковский — Алексееву. Дер. Виялово. 21.VII. 31.

(1931 год — уже начинаются поиски врагов народа и охота на зубров — старую профессуру.)

...Мы существуем в общем хорошо, злостно и свирепо забыв все бывшие и будущие гадости, их же суть ты, Господи, веси!.. Я, кажется, начал возвращаться к детству: внезапно вспомнил цитру, которой, кажется, не трогал лет пять: в дождливые дни играю гаммы и размышляю, что в наших условиях более неприятно — быть арабистом или цитристом (и очень порядочным), который иногда играет в галерее Андреевского рынка.

В ответ Алексеев предложил составить компанию: Игнатий Юлианович будет играть на цитре, а он — анекдоты рассказывать... Читаешь и думаешь: сколько минут, если не секунд, могла продлиться такая самодеятельность под гостеприимными, как пишет Алексеев, сводами Андреевского рынка...

Алексеев — Крачковскому. Ленинград. 14 февраля 1938.

(В это время уже полным ходом шли собрания, посвященные «проработкам» Алексеева — попросту говоря, травля. 13 февраля 1938 г. прошло заседание партийно-комсомольского актива ИВАН, на котором при полном одобрении присутствовавшего на заседании вице-президента АН А. М. Деборина В. М. Алексееву были предъявлены обвинения в деятельности «во вред государству», «на руку японскому империализму».)

...После Вашего ухода, говоря с Дебориным [снова Деборин, но уже в роли не отв. редактора, а вице-президента — М. Б.] по сладчайшей просьбе Струве «не резко» [В. В. Струве знаток Древнего Востока, давний друг Алексеева, доказавший в дни травли свою преданность; в это время, после ареста А. Н. Самойловича, — и. о. директора ИВАН. — М. Б.], я переживал чувство крайнего унижения: вот так говорить, как с каким-то порядочным человеком, — с негодяем..., которого презираю... — это уж слишком! Он имел, представьте себе, нахальство хоть справиться о моем здоровье и комментировать мой «болезненный вид». Воистину, слякохся до конца...

«Пострадах и слякохся до конца» — Псалом. На этот глас вопиющего Крачковский ответил гласом народной мудрости: «Когда-то у Даля вычитал — “Поживешь на веку, поклонисься и хряку: — Хряк, хряк, сделай так! — Хрю, хрю, посмотрю”. Сие вспоминаю часто и иногда успокаиваюсь».

Весной 38-го появилась в «Правде» статья «Лжеученый в звании советского академика»... Только успели достать из ящика эту страшную газету, как раздался звонок в дверь — пришли Крачковские, первыми. Затем приходили и другие, звонил телефон.

А в январе 41-го отмечалось 60-летие Алексеева. Лучшая речь принадлежала, конечно, Игнатию Юлиановичу. Я на нее еще сошлюсь.

Письма военных лет — около ста с каждой стороны — «бесценные очевидцы современности» (слова Игнатия Юлиановича), со всеми ее, современности, бедами, смертями, горем. И при этом — разговор о продолжающейся наперекор всему работе: Крачковский в ледяном кабинете продолжает своих «Географов», затем возникают и набирают силу сообщения о рождении цикла «Над арабскими рукописями». Алексеев в Боровом дни напролет переводит китайские антологии, взятые из блокадного Ленинграда (лимит багажа на самолете — 10 кг.). С удивительным постоянством прорывается в письмах привычная многолетняя потребность

советоваться друг с другом: «Как Вы думаете?», «За каждое Ваше замечание буду благодарен»... И т.п., с обеих сторон. Но одних писем, конечно, было мало, и в письме, отправленном Крачковскому 31 марта 1942 года в блокадный Ленинград, у Алексеева вырвалось, как стон, страстное желание: «Прийти в Ваш замечательный исторический кабинет и погрузиться в беседу, по которой скучаю, тоскую, вождедею». Такие беседы Алексеев называл строительными, и в 1947 году в «Посвящении» Крачковскому сказал с особым чувством: «Это исключительный собеседник, умеющий дослушать вас до конца, иногда с героическим терпением, и затем высказаться кратко, ясно и определенно». И еще: «Наш лучший читатель Игнатий Юлианович в то же время и этим самым наш лучший друг, не знавший никаких других к нам отношений, кроме научной правды и научного чувства, которое у него развито чрезвычайно сильно: он никогда не позволяет себе снижаться до личных пересудов и мелочей».

Это так, и потому особенно грустно, когда имя Игнатия Юлиановича оказывается вовлеченным, без его ведома, в личные пересуды, личную неприязнь. Во много раз уже изданных и переизданных дневниках К. Чуковского Алексеев получил от него аттестацию «тупоголового китайца», допускающего «бестактные и бездарные выпады», досаждающего всей Восточной коллегии «Всемирной литературы» и более всего Крачковскому, который так Алексеевым измучен, что называет его «желтой опасностью». Я не собираюсь защищать тут Алексеева, но хочу сказать слово в защиту Крачковского. Было бы странно, если бы бурные холерические реакции Алексеева, его нетерпеливость, его взрывчатость (за что он сам себя казнил более самих пострадавших) не вызывали у безупречно выдержанного Крачковского досаду: в дневнике он с явной иронией называет его «неутомимым Алексеевым», а пламенную речь о необходимых преобразованиях Азиатского музея — «длиннейшей программной канителью». В Алексееве не было воспитанного чувства меры, а Крачковский владел им в совершенстве. Все это так, но назвать Алексеева «желтой опасностью» Крачковский мог разве что в шутку, с невеселой улыбкой в бороду и деликатным своим покашливанием. В печати все это испарилось, а то, что осталось, вызвало бы, уверена, глубокое огорчение Игнатия Юлиановича. Верить нужно словам, сказанным им Алексееву в день 60-летия: «Вы прошли суровую школу жизни... Если в Вашем характере обозначились острые углы, если по временам он бывает трудным, то я всегда хочу сказать тем, кто Вас за это упрекает: а много ли сделали люди, чтобы смягчить этот характер?» Сам Игнатий Юлианович сделал много для смягчения характера Алексеева и много раз приходил на помощь в трудных ситуациях, в которые попадал Василий Михайлович из-за своих «острых углов». Об этом свидетельствует их переписка, а сколько же осталось вне ее...

Алексеев с юных лет задумывался над тем, чему дал определение — научное чувство, иногда заменяя его более обычным — пафос. «Наука требует пафоса. Иначе — это ремесленная профессия, нечто вроде канцелярии по научным делам. А пафос заказать нельзя». Потому он как-то по особому воспринял исповедальную книгу Крачковского и по особому радовался ее успеху. Думаю, что итоговые раздумья, как определил содержание книги ее автор, ставшие содержанием и следующей исповеди — «Испытание временем», были также содержанием многих бесед и в доме на набережной, и на даче в Комарове.

Конечно, каждый из них понимал научное чувство по-своему, вкладывал в него свое, но оба были едины в уверенности: без научного чувства настоящей науки нет. И оба были созвучны в оценках «мастеров шулерского жонглирования» (определение Крачковского), «игнорантов» и «симулянтов приличия» (определения Алексеева). И еще — в общем для обоих убийственном чувстве своей беспомощности перед «грубым сапогом, бессмысленно топчущим бережно выращенные цветы» (Крачковский), перед «первым же капралом, взявшим палку в руки» (Алексеев).

Фотоснимок, сделанный Норбертом Баньковским 14 января 1951 года — 70-летие Василия Михайловича — оказался трагическим. Группа востоковедов за столом, в центре — юбиляр со страдальческой гримасой на измученном болезнью лице, ему осталось 4 месяца жизни, не жизни, а умирания. Рядом — красивый и спокойный Игнатий Юлианович, ему осталось жизни — 9 дней.

25 января, в больнице, Василий Михайлович развернул принесенную кем-то газету и увидел извещение в черной рамке. Последние написанные его рукой строчки — записка Вере Александровне. От четкого почерка не осталось ничего, каракули, кляксы, потеря букв и повторы, но — угасающий человек остался самим собой: «Незабываемый день, день ужас! Целый день рыдал. Умер друг, мыслитель, великий, неповторяемый. Я не знаю, как теперь жить. Видите, как пишу, как юродивый».

Жизнь трагична, по самому замыслу. Но в памяти осталось другое: как менялось лицо отца, когда он говорил об Игнатии Юлиановиче, как обретало оно то же выражение-отражение наслаждения, какое бывало при слушании возлюбленной музыки. В отличие от Розенберга и Крачковского он не обладал музыкальностью, но музыку любил и умел слушать. Уже необратимо больной, чувствуя исход, записал в дневнике: «Можно ли считать себя несчастным, если можешь слушать Грига?» Мне кажется, что восприятие отцом самой личности Крачковского было близко к слушанию Грига или тоже возлюбленного им Шумановского Карнавала — он слышал звучание Игнатия Юлиановича «в тембре его голоса и в равновесии его поведения: без детонаций и неверных нот». Так услышал и его книгу: «Еще и еще читаю Ваши тихие страницы...» Тихие...

И в заключение — прекрасное посвящение И. Ю. Крачковскому третьего не арабиста — молодого Юлиана Щуцкого, дата: 1921.I.XII. Избрание Крачковского в Академию.

*Кассыдатун фимадхи Имам иль Маширайн²
(Восхваление Имама двух Востоков)*

Вы король в королевстве, раскинувшем земли широко!
От Борнео и Явы с востока по воле Аллаха
На закат распростерты они за Алжир и Марокко,
Только римский орел мог сравниться простором размаха.

Повелением Неба раскинулись Ваши владенья
От безмолвного Мертвого моря, от гроба Господня
До Афонских высот, где немолчно звучат песнопенья,
Как за пологом ветхих веков — так вчера и сегодня.

И не только на юг, на восток, на закат и на север
Ваше царство легло. Но по воле святых и поэтов
Под иные светила оно разлетелось как веер
На пути предуказанном стрелами всех минаретов.

Непрерывно сияют и «обе луны» и плеяды,
Изливаясь на «оба Востока» Христа и Ислама.
Мы, как третий, как дальний восток Вас приветствовать рады
Из Китая, Японии, Бирмы, Тибета, Сиама.

Вот и ответ на недоумение дальневосточницы, спешившей в 1983 году прочь от заседания памяти арабиста Крачковского.

Я смогла тут назвать лишь троих из многих коллег Игнатия Юлиановича, близких ему по духу, хоть и далеких по специальности. Все четверо, включая его самого — люди весьма разные. Но есть и общая для всех мета: все принадлежали науке чистой, как они ее называли, а мы называем фундаментальной, которой академик Мигдал нашел прекрасное определение, уподобив деланию добра без расчета на благодарность. Расчета на благодарность не было, но она приходит сама: в новых трудах и в востребовании из прошлого трудов ученых, по слову Конфуция, далеко отошедших. Дай Бог, чтобы благодарность эта длилась и длилась.

² Транскрипция автора сохранена.